

Политический горизонт

Видит ли какой-либо человек белой расы, что происходит вокруг него на земном шаре? Понимает ли величину опасности, которая нависла и угрожает этой народной массе? Я не говорю об образованной или необразованной массе в наших городах, о читателях газет, этом голосующем стаде, — при том что между избирателями и избранными уже давно нет никакой разницы в уровне, а о руководящих слоях белых наций, поскольку они не уничтожены, о государственных деятелях, пока таковые еще имеются, о настоящих вождях (РйБггп) ПОЛИТИКИ И хозяйства, армии, властителях дум. Заглядывает ли кто-нибудь в завтрашний день и за пределы этой части Земли — своей страны, за пределы узкого круга своей деятельности?

Мы живем в роковое время. Грандиозная историческая эпоха открылась не только для фаустовской культуры Западной Европы с ее поразительной динамикой, но и для всей мировой истории, эпоха более величественная и ужасная, чем времена Цезаря и Наполеона. Однако как слепы люди, которых бурлящая мощная

ШЕЙ Политический горизонт

судьба переворачивает, возносит или уничтожает. Кто из них видит и понимает, что происходит с ними и вокруг них? Наверное, лишь созерцающие мир вокруг себя старые мудрые китайцы или индусы, в которых жив тысячелетний дух. Но поверхностно, узко, мелочно мыслится все то, что проявляется в словах и делах в Западной Европе и Америке! Кто из обитателей Среднего Запада в Соединенных Штатах действительно понимает хоть что-то из того, что происходит за пределами Нью-Йорка или Сан-Франциско? Что понимает средний обеспеченный англичанин в том, что происходит на материке, не говоря уже о французском провинциале? Что все они знают о направлении, в котором движется их собственная судьба? При этом возникают смешные лозунги о преодолении экономического кризиса, взаимопонимании народов, национальной безопасности и автаркии, «преодолении» катастроф в масштабе поколений путем *ргозрегйу* * и разоружении.

Но я говорю здесь о Германии, угроза для которой в колдовороте фактов гораздо глубже, чем для какой-либо другой страны, и существование которой в прямом смысле слова стоит под вопросом. Какая близорукость и вопиющая поверхностность царят здесь, что за провинциальные манеры всплывают, когда речь идет о больших проблемах! В пределах наших границ создается Третий рейх или Советское государство, ликвидируется армия или собственность, руководители экономики или сельское хозяйство, маленьким странам дают много самостоятельности или устраняют ее, позволяют старым господам от экономики или управления снова работать в стиле 1900 года или, наконец, делают революцию, провозглашают диктатуру, для которой потом найдется диктатор — четыре дюжины людей чувствуют себя уже давно выросшими для этого, — и все замечательно и хорошо.

* Процветание (англ.). Здесь и далее постраничные примечания редактора и переводчика. Примечания автора и немецкого издателя в конце книги.

Но Германия — не остров. Никакая другая страна, развиваясь и переживая трудности, в такой степени не вплетена в мировую судьбу. Ее географическое положение, нехватка естественных границ обрекли ее на это. В XVIII и XIX веках это была «срединная Европа» (Мителгеора), в XX веке это снова, как это было с XIII века, граничащая с «Азией» страна, и ни для кого нет большей необходимости, чем для немцев, мыслить политически и экономически далеко за пределы своих границ. Все, что происходит где-то далеко, кругами расходитя до всех уголков Германии.

Наше прошлое — эти 700 лет жалких провинциальных мелких государств (Юетзгаагега), без намека на величие, без идей, без цели — мстит нам. Это нельзя восполнить за два поколения. Политика Бисмарка совершила большую ошибку — подрастающее поколение не воспитывалось для новых форм нашей политической жизни. Их видели, но не понимали, не усвоили их внутренне, с их горизонтами, проблемами и новыми долгами. Ими не жили. И среднестатистический немец по-прежнему рассматривал судьбы своей большой страны партийно или партикулярно, то есть плоско, узко, глупо, судорожно. Это мелкое мышление началось с тех пор, как Штауфены* — с их взглядом за Средиземное море — и Ганза**, господствовавшая

* Штауфены — династия королей Германии и императоров Священной Римской империи. К ней принадлежал, в частности, Фридрих II Барбаросса. При Штауфенах в Германии наблюдалось ослабление центральной власти и усиление самостоятельности германских княжеств.

** Ганза — торговый союз северогерманских городов. Точная дата возникновения неизвестна, однако уже в XII в. король Англии Генрих II подтвердил ее права. Число членов Ганзы менялось, в период ее расцвета их по всей Европе насчитывалось более семидесяти. В XV в. Ганза начинает приходить в упадок, так как господство в торговле стало переходить к находившимся в более благоприятном положении атлантическим портам, к Голландии и Англии. После открытия Нового Света и новых маршрутов на Дальнем Востоке число городов уменьшается до четырнадцати, и в 1669 г. Ганза прекращает свое существование.

когда-то от Шельды* до Новгорода, вследствие неустойчивости внутренней политики были подмяты другими, более прочными силами. С тех пор немцы затворились в своих многочисленных маленьких отечествах, замкнулись на своих ничтожных интересах, измеряя мировую историю этими горизонтами, и, голодая, лелеяли свои убогие мечты о заоблачном царстве, для чего было изобретено словечко «Немецкий Идеализм». К этому мелкому внутригерманскому мышлению принадлежит почти все, что бурно расцвело на почве политических идеалов и в утопиях на болотистой почве Веймарской республики, все эти интернациональные, коммунистические, пацифистские, ультрамонтанские**, федералистские, «арийские» идеальные картинки Священной империи, государства Советов или Третьего рейха. Партии одержимы мыслью об исключительности Германии. Профсоюзы не видят дальше промышленных областей. Колониальная политика была им ненавистна изначально, потому что она не вписывалась в схему классово-борьбы. В своей доктринерской ограниченности они не понимают или не хотят понять, что хозяйственный империализм начала века со своей озабоченностью сбытом продукции и добычей сырья как раз и был для рабочих основой их существования. Английские рабочие это давно поняли. Немецкая демократия грезилась о пацифизме и разоружении, исключив из поля зрения Францию. Федералисты хотели

* Шельда — река в северо-восточной Франции, Бельгии и Нидерландах. Во времена Французской революции 1793 г. устье Шельды было объявлено свободным для судов всех наций. В 1795 г. из занятой французскими войсками нидерландской провинции Восточной Фландрии был образован французский департамент Шельды, с главным городом Гентом. В 1810 г. Наполеон I обратил голландскую провинцию Зееландию в департамент Устье Шельды, с главным городом Гаага.

** Ультрамонтанство — течение католической церкви, возникшее в XV в. и особенно активное в XIX в., сторонники которого объявляют абсолютное подчинение церкви папе римскому.

бы и без того маленькую страну снова превратить в вязанку карликовых государств прежнего пошиба и тем самым дать возможность чуждым силам сталкивать их друг с другом. А национал-социалисты полагают, что обойдутся без мира, что построят свои воздушные замки, по крайней мере, без молчаливого, но очень чувствительного противодействия.

Сюда прибавляется всеобщий страх перед действительностью. Мы, как и все «бледнолицые», хотя и более, чем другие, но в большинстве своем не столь сознательные. Это душевная слабость позднего человека высоких культур, который в своих городах отрезан от крестьянина, живущего на родной почве, и тем самым от естественного переживания судьбы, времени и смерти. Он стал слишком слабым — привыкший к вечным раздумьям о вчерашнем и завтрашнем дне, не выносит того, на что должен смотреть и что видит: неизбежный ход вещей, бессмысленный случай, реальную историю с ее безжалостной поступью сквозь столетия, в которой отдельный человек со своей крошечной частной жизнью жестко вписан в определенное место. И вот это он хотел бы опровергнуть, оспорить, забыть. Он бежит из истории в одиночество, в выдуманные и чуждые миру системы, в какую-нибудь веру, в самоубийство. Он прячет, подобно смешной птице страусу, свою голову в надежды, в идеалы, в трусливый оптимизм: это так, но так не должно быть, следовательно, это другое. Кто поет ночью в лесу, делает это от страха. От этого же страха кричит сегодня миру трусость городов о своем оптимизме. Города больше не выносят действительности. Они заменяют факты идеальной картиной будущего — хотя история никогда еще не заботилась о желаниях людей: ни кисельных берегов для

маленьких детей, ни мира во всем мире и рая для рабочих — у взрослых.

Насколько мало известно о событиях будущего — из сравнения с другими культурами можно увидеть лишь общие очертания будущих фактов и их ход сквозь время, — настолько верно и то, что движущей силой будущего является прошлое: воля сильного к обладанию и власти, здоровые инстинкты, раса. А над этим колышутся мечты, которые всегда останутся мечтами: справедливость, счастье и мир.

Для нашей культуры сюда прибавляется быстро нарастающая с XVI века невозможность для многих людей видеть все более запутанные и темные события и проблемы большой политики и экономики, понимать действующие в них силы и тенденции, не говоря уже о том, чтобы овладеть ими. Настоящие государственные деятели появляются все реже. Большинство из того, что было сделано или не случилось в истории этого столетия, было сделано недоучками и дилетантами, которым повезло. Но они могли все же положиться на народы, чей инстинкт предоставил им свободу действий. Только сегодня этот инстинкт так слаб, а болтливая критика, исходя из счастливой неопределенности, так сильна, что надвигается опасность: реальный государственный деятель и знаток всего, что происходит, вряд ли будет признан с инстинктивным одобрением или ворчливой терпимостью, и сопротивление всякого рода всезнаек станет препятствовать ему в том, что должно быть сделано. Первое испытал Фридрих Великий, второе почти стало судьбой Бисмарка. Деятельность и величие таких вождей смогли оценить разве что поздние поколения. Но речь идет о том, что современность грешит неблагодарностью и непониманием и не оказывает сопротивления. Особенно немцы преуспели в своем умении с подозрением относиться ко всякому творчеству, поносить и замалчивать его. Исторический опыт и сила традиции — так, как они

укоренены в английской жизни, — у немцев убывают. Народ поэтов и мыслителей готовится стать народом болтунов и подстрекателей! Любой настоящий руководитель государства непопулярен, и это следствие страха, трусости и незнания современников, но даже чтобы это понять, нужно быть больше, чем «идеалистом».

Сегодня мы еще находимся в эпохе рационализма, начавшейся в XVIII веке и стремительно завершающейся в XX веке. Мы все являемся ее порождением, знаем ли об этом и хотим ли этого или нет. Слово «рационализм» знакомо каждому, но кто знает, что оно означает? Это высокомерие городского духа, лишённого корней, не руководимого никаким сильным инстинктом, с презрением относящегося к полнокровному мышлению прошлого и мудрости целых поколений крестьян. Это время, когда каждый умеет читать и писать и поэтому желает говорить обо всем, что якобы понимает лучше других. Этот дух одержим новыми понятиями — богами этого времени, и этот же дух критикует мир: мол, он никуда не годится, мы можем сделать лучше, вперед, предложим программу лучшего мира! Когда есть дух — все необыкновенно легко. И тогда программы осуществляются сами собой. Пока мы называем это «прогрессом человечества». Поскольку у него есть имя, он имеет право присутствовать здесь. Кто сомневается в этом, тот ограничен, реакционер, еретик, прежде всего человек без демократической добродетели: убрать его с пути! Так страх перед действительностью преодолен духовным высокомерием, спесью, происходящей от незнания, от душевной нищеты, от нехватки уважения, наконец, от чуждой миру глупости. Ибо ничто не является более глупым, чем лишённый корней городской интеллект (IпгeШ§en2). В английских конторах и клубах его называли *common SenSe**, во

* Здравый смысл (англ.).

французских салонах — *eSpnI**, в каморках немецких ученых — чистым разумом. Плоский оптимизм филлистеров от образования уже не боится, а презирает элементарные факты истории. Каждый «знаток» хочет втиснуть историю в свою не знающую опыта систему, представить ее более совершенной, чем в действительности, подчиненной духу, потому что он больше не переживает факты, а только познает их. Эта доктринерская тяга к теории происходит от недостатка опыта, — а лучше сказать, от недостаточной одаренности приобретать опыт, выражается в неустанных проектах политических, социальных и хозяйственных систем и утопий, в действительности — в буйстве организации, становящейся абстрактной самоцелью и имеющей, как следствие, бюрократию, которая холостым ходом идет к концу, уничтожая живой порядок. Рационализм, по сути, есть не что иное, как критика, а критик — полная противоположность творца: он разлагает и складывает, зачатие и рождение чуждо ему. Поэтому все рожденное рационализмом искусственно, безжизненно и убивает при соприкосновении с реальной жизнью. Все эти системы и учреждения возникли на бумаге методично и абсурдно, и живут они только на бумаге. Это началось в эпоху Руссо и Канта, с философских идеологий, потерявшихся во всеобщем, в XIX веке переходит в научные конструкции, построенные по естественнонаучной, физической, дарвинистской методологии, — в социологию, политэкономия, материалистическую историографию, — и кануло в XX веке в литературшине тенденциозных романов и партийных программ.

Однако не следует заблуждаться: речь равно идет и об идеализме, и о материализме. И то и другое насквозь рационалистично: Кант не меньше чем Вольтер и Гольбах, Новалис и Прудон, идеолог освободительных войн, так же как и Маркс, понимали

* Дух (франц.).

историю материалистично в той же самой степени, как и идеалистично. Мало меняет дело и то, являются ли техника, «свобода», «счастье большинства» «смыслом» и «целью» прогресса или прогресс состоит в расцвете искусств, поэзии и философии. В обоих случаях никто не заметил, что судьба в истории зависит совсем от других, более основательных сил. История человечества — это история войн. Никто из немногих по-настоящему крупных историков не стал популярным, а из государственных деятелей таким был Бисмарк — тогда, когда это ему уже не могло помочь.

Но, как идеализм и материализм, романтика является выражением рационалистического высокомерия от недостатка понимания смысла происходящего. Они родственны в своей глубинной основе, и будет нелегко найти у иного политического или социального романтика границу между этими направлениями мышления. В каждом значительном материалисте скрывается тайный романтик. Очевидно, что холодный, плоский, методичный дух материализма презирается, но при этом достаточно других свойств, чтобы действовать теми же средствами и с той же сепсью. Романтика — это не признак сильных инстинктов, а слабого, себя самого ненавидящего интеллекта. Все эти романтики инфантильны: мужчины, остающиеся детьми, без воли к самокритике, с туманным осознанием личной слабости или одержимые большими мыслями изменить общество, которое является для них слишком мужским, слишком здоровым, слишком трезвым — но не с ножом и револьвером, как в России (боже упаси!), а с благородной болтовней и поэтическими теориями. Беда, если они не обладают достаточной художественной одаренностью и не могут уверить себя в наличии творческих сил! Но и тогда они женственны и слабы: они не могут создать ни крупного романа, ни строгой трагедии, еще менее — завершенной сильной философии; появляется только аморфная лирика, бескровные схемы и фраг-

ментарные мысли, до абсурдности чуждые и враждебные миру. Таковыми были вечные «мальчики» после 1815 года с их сюртуками по устаревшей тевтонской моде и табачными трубками, а также Ян и Арндт*; даже Штейн** не смог усмирить свое романтическое пристрастие к старинным государственным порядкам настолько, чтобы дипломатически успешно применить свой большой практический опыт. Скорее всего, они были благородными героями, готовыми в любой момент стать мучениками, но слишком много говорили о немецкой сущности и слишком мало — о железных дорогах и таможенном союзе, поэтому для действительного будущего Германии они стали только помехой. Слышали ли они имя великого Фридриха Листа***, покончившего с собой в 1846 году, потому что никто не понимал и не поддерживал его провидческие реально-политические цели — построение немецкого национального хозяйства? Но имена Арминия и Туснельды**** знали все. Эти вечные мальчики сегодня снова здесь появились, не созревшие, без опыта или доброй воли, бойко пишущие и говорящие о политике, воодушевленные униформами и знаками, фанатично уверовавшие в какую-нибудь теорию. Есть социальная романтика мечтательного коммунизма, политическая романтика, считающая своим делом итоги выборов и опьянение

* Эрнст Мориц Арндт и Людвиг Фридрих Ян — деятели германского национально-патриотического движения начала XIX века. Первый — автор одной из первых расовых концепций, отождествивших расу с народом. Второй стоял у истоков немецких студенческих обществ, культа физической силы и немецкого флага.

** Барон фон Штейн (1757—1831) — прусский министр, один из проводников реформ начала XIX века.

*** Фридрих Лист (1789—1846) — немецкий экономист, публицист и политик, автор «Национальной системы политической экономии», один из авторов концепции протекционизма.

**** Трагическая история Арминия, героя сопротивления германских племен римской оккупации, и его жены Туснельды легла в основу ряда произведений немецких романтиков.

речами на митингах, экономическая романтика, бегущая вслед за денежными теориями больных мозгов без всякого знания внутренних законов реального хозяйства. Эти мальчики чувствуют себя хорошо лишь в массе, поскольку здесь, размножаясь, они могут скрыть постыдное чувство своей слабости. И это они называют преодолением индивидуализма.

Они — подобно всем рационалистам и романтикам — сентиментальны как уличная песенка. Уже Сопгга! зоаа!* ведет свое происхождение из эпохи чувствительности.

Напротив, Бёрк** как настоящий государственный муж справедливо утверждал, что они там, на континенте, требуют своих прав не как люди вообще, а как англичане. Все это мыслилось практически и политически, — а не рационалистически, — от несдержанности чувств. Ибо эта дурная сентиментальность, пропитавшая все теоретические течения последних двух столетий — либерализм, коммунизм, пацифизм, все книги, речи и революции, происходит от отсутствия душевного самообладания, от личной слабости, от недостатка воспитания в духе старой строгой традиции. Она является «бюргерской» или «плебейской», если эти слова являются ругательствами. Она видит человеческие вещи, историю, политическую и экономическую судьбу снизу, мелко и мелочно, из подвального окна, с улицы, из литературного кафе, из толпы, а не с высоты и дали. Любое величие, все, что возвышается, господствует, превосходит, ненавистно им. Строительство для этих «сентименталистов» означа-

* Общественный договор — основа представлений европейских мыслителей XVII и XVIII вв. о государстве, наиболее ярко выраженных в трактате французского мыслителя, педагога и писателя Ж.-Ж. Руссо (1712—1778) «Общественный договор», в котором возникновение общества мыслится как акт передачи индивидом своих прав политическому организму.

** Эдмунд Бёрк (1729—1797) — английский государственный деятель, литератор и политический мыслитель, теоретик консерватизма.

ет в действительности разрушение творений культуры, государства, общества вплоть до жизни маленьких людей, за пределы которой их скудные чувства не выходят. Все это сегодня является исконно народным (yoПсзШтПсЪ) и принимается народом, ибо «народ» означает в устах каждого рационалиста и романтика не многослойную нацию, сформировавшуюся, воплощенную судьбой на протяжении времени, а часть плоской бесформенной массы, с которой каждый уравнивает себя — от «пролетариата» до «человечества».

Это господство городского безродного духа подходит сегодня к концу. В качестве последнего способа понимания вещей как они есть появляется скепсис, фундаментальное сомнение в смысле и ценности теоретического размышления, в способности последнего критически и понятийно выносить заключение о чем-либо и практически чего-либо достигать. Это скепсис в форме большого исторического и физиономического опыта, неподкупного взгляда на факты, действительного знания людей, которое учит, каким человек был и есть, а не каким он должен быть, в форме подлинного исторического мышления, которое, среди всего прочего, учит, как часто возникали и бесследно исчезали подобные эпохи исторической критики. Это почтение перед фактами мирового процесса, которые есть и останутся нераскрытыми, мы можем только описать, но не объяснить, и с этим могут справиться не сентиментальные программы и системы, а люди сильной расы, которые и сами являются историческим фактом. Это жесткое историческое знание фактов, ставшее возможным в этом веке, невыносимо для мягких, не владеющих собой натур. Они ненавидят того, кто констатирует такие факты, и называют его пессимистом. Да, пессимизм, но это сильный пессимизм, в котором выражается презрение великих людей дела — знатоков рода человеческого, в котором есть нечто иное, чем трусливый пессимизм мелких усталых душ, боящихся жизни и не выносящих трезвого взгляда

на действительность. Мечта о счастливой жизни, о мире, о безопасности, о жизни в свое удовольствие скучна и пуста, и, кроме того, она только лишь мыслима, но невозможна. Об этот факт, о действительность истории разбивается любая идеология.

Что же касается современного международного положения, то мы, к сожалению, оцениваем его неправильно. Со времен Гражданской войны в США (1865), германско-французской войны (1870), в викторианскую эпоху до 1914 года среди белых народов установилось столь невероятное состояние покоя, безопасности, мирного и беззаботного существования, какого предыдущие столетия не знали. Тот, кто это пережил или слышал об этом от других, склонен считать это нормальным, поэтому воспринимает хаотичную современность как нарушение естественного состояния и желает, чтобы оно «наконец снова вернулось на место». Но подобный покой уже никогда не наступит. Неизвестны причины, приведшие к столь длительному, удивительному состоянию: растущие армии сделали исход войны столь непредсказуемым, что ни один государственный деятель не отваживается теперь возглавить армию; техническое хозяйство так лихорадило, что оно должно было прийти к скорому упадку, потому что развивалось в постоянно меняющихся условиях; и наконец, еще один факт: эти тяжелые нерешенные проблемы перекладывались на плечи сынов и внуков как дурное наследство и даже не были ими осознаны, хотя постоянно угрожали растущим напряжением в будущем. Долгую войну без опустошения души выносят немногие, долгого мира не выносит никто. Мирное время с 1870 по 1914 год и воспоминание о нем сделало всех белых людей Сытими, жадными, безрассудными и не способными

к переживанию несчастья. Последствия этого мы видим в утопических представлениях и категоричности, присущих сегодня любому демагогу, который предъявляет требования к времени, государствам, партиям, прежде всего к «другим», преступая границы дозволенного, отвергая долг, цели и самоотречение.

Этот слишком длительный мир на дрожавшей от растущего напряжения почве — ужасное наследство. Ни один государственный деятель, ни одна партия, ни один политический мыслитель не имеют убеждений, не говорят правды. Они лгут, подпевают хору избалованной и необразованной массы, которая хочет иметь завтра то-то и то-то, а еще лучше — как это было когда-то, хотя государственные деятели и руководители хозяйства должны бы лучше знать ужасную действительность. Но что за руководителей (Рйпгег) имеем мы сегодня в мире! Этот трусливый и бесчестный оптимизм раз в месяц объявляет о «возвращающейся конъюнктуре» и *ргозрегйу*, поскольку парочка доморожденных спекулянтов заставляет курс ненадолго подняться; о конце безработицы, поскольку где-то сто человек получили работу; и прежде всего о достигнутом «взаимопонимании» народов, поскольку Лига наций, это сборище паразитирующих дачников на берегах Женевского озера, принимает какое-то решение. И во всех газетах и на всех собраниях звучит слово «кризис» как термин для обозначения временно испорченного удовольствия, с помощью которого лгут о том, что речь идет о катастрофе невообразимых масштабов, о нормальности происходящих крупных изменений в истории.

Однако мы живем в могучее время. Это величайшее из времен, какое когда-либо пережила или будет переживать культура Европы, подобное было только во времена Античности от Канн до Аквиума*, герои

* Битва при Каннах (216 г. до н. э.) — одно из крупнейших сражений Пунических войн, в котором Ганнибал одержал победу над римлянами. В морском сражении при Аквиуме 2 сентября 31 г. до н. э. Октавиан одержал победу над Марком Антонием и стал первым римским императором.

которой остались в веках — Ганнибал, Сципион, Гракх, Марий, Сулла, Цезарь. Мировая война была первым громом и молнией из грозových облаков, судьбоносно нависших над нашим столетием. Картина мира пересоздается ныне кардинально, как когда-то ее перекраивала Римская империя, безразличная к воле и желаниям «большинства», безразличная к жертвам, которых требует каждое такое решение. Но кто понимает это? Кто вынесет это? Кто почитает за счастье присутствовать при этом? Великое время и мелкие люди. Они не выносят трагедию ни на сцене, ни в действительности. Они хотят *Happy end** глупых развлекательных романов, такого же жалкого и вялого «счастливого конца», как и они сами. Но судьба, забросившая их в эти десятилетия, хватает их за шиворот и делает с ними то, что должно, хотят они того или нет. Трусливая безопасная жизнь прошлого столетия подошла к концу. Жизнь в опасности, эта подлинная жизнь истории снова вступает в свои права. Все пришло в движение. Теперь значим только отважный человек, который имеет мужество видеть вещи и воспринимать их такими, какие они есть. Близится время — нет, оно уже наступило! — которое не оставляет места для хрупких душ и хилых идеалов. Древнее варварство, столетиями скрытое и скованное строгостью форм высокой культуры, снова пробуждается там, где культура завершена и начинается цивилизация, та здоровая воинственная радость от собственной силы, которая презирает пресыщенную литературой эпоху рационалистического мышления, тот нерушимый инстинкт расы, который не хочет жить под давлением груды прочитанных книг и действием книжных идеалов. В западноевропейском народе (Uolkstt) еще многое живо от тех давних времен, как и в американских прериях, и на большой североазиатской равнине, где подрастают завоеватели мира.

* Счастливый конец (англ.).

«Пессимизм» ли это? Не нуждается ли в набожной лжи или покрове из идеалов и утопий тот, кто хотел бы закрыться от действительности или избавиться от нее? Возможно ли, чтобы так поступали большинство белых людей, в этом столетии — определено да, а в следующем? Их предки во времена переселения народов и Крестовых походов были другими. Они презирали это как трусость. Из этой трусости перед жизнью в индийской культуре одновременно возник буддизм и родственные ему направления, входящие у нас в моду. Вполне вероятно, что этим объясняется позднее возникновение религии в Европе, которая могла явиться в христианском обличии или в каком-либо другом, кто может знать? Религиозное «обновление», сменяющее рационализм как мировоззрение, может обернуться возникновением новых религий. Усталые, трусливые, преждевременно состарившиеся души хотят убежать туда, где получают большее забвение в причудливости учений и ритуалов, чем это удастся христианской церкви. *СгеАо, цига аЪзигйит* * вновь актуально. Однако глубина мировой печали, чувство, столь же старое, как и собственно размышление о мире, жалоба на абсурдность истории и жестокость жизни, происходит не из самих вещей, а из больной мысли о них. Уничтожающего суждения о ценности и силе собственной души. Постигать мир не обязательно полными слез глазами.

Особенность нордического восприятия мира — от Англии до Японии — испытывать радость от тяжести человеческой судьбы. Судьба необходима, чтобы ее побеждать. И погибнуть гордо, если она оказалась сильнее, чем собственная воля. Таковым было мировоззрение в одном из самых древних эпосов — Махабхарате, повествовавшей о борьбе между пандавами и кауравами, у Гомера, Пиндара и Эсхила,

* Верую, ибо абсурдно (лат.). Высказывание, приписываемое Тертуллиану.

в германском героическом эпосе и у Шекспира, в некоторых песнях китайской «Шуцзин»* и среди японских самураев. Это трагическое восприятие жизни живо и сегодня, оно расцвело уже в мировую войну, и в будущем его ждет новый подъем. Поэтому все большие нордические поэты были трагиками, а трагедия выше баллады и эпоса, самая глубокая форма этого отважного пессимизма. Тот, кому чужда трагедия, не может быть участником мирового действия. Кто не переживает историю как она есть, а именно трагически, судьбоносно, вопреки сторонникам прагматизма, то есть без смысла, цели и морали, тот не в состоянии делать историю. Здесь сталкивается высокая и низкая мораль человеческого бытия. Жизнь отдельного человека важна только для него самого: речь идет о том, будет ли он убегать от истории или жертвовать собой для нее. История никогда не имела дела с человеческой логикой. Гроза, землетрясение, поток лавы, без разбора уничтожающие жизнь, родственны простым спонтанным событиям мировой истории. И даже если гибнут народы, горят и превращаются в руины старые города уходящих культур, Земля и дальше спокойно вращается вокруг Солнца, а звезды движутся по своим орбитам.

Человек — хищное животное. Я всегда буду это повторять. Все ревнители добродетели и специалисты по социальной этике, стремящиеся выйти за пределы этого, — хищники, только беззубые, ненавидящие других за ту агрессию, которой сами благоразумно избегают. Посмотрите на этих людей: они слабы, чтобы прочесть книгу о войне, однако на улице они сбегаются посмотреть на несчастный случай, чтобы пощекотать свои нервы видом крови, а если не решаются и на это, то наслаждаются кровавыми сценами в кино и на фотографиях в иллю-

* Шпенглер, видимо, перепутал два древнейших литературных памятника Китая (первая пол. I тыс. до н. э.) — «Шуцзин» («Книга истории») и «Шицзин» («Книга песен»).

стрированных журналах. Если я называю человека хищником, кого я тем самым оскорбляю — человека или зверя? Ибо крупные хищники — совершенные творения природы, не ведающие лживости человеческой морали, происходящей от слабости.

Они кричат «Нет войне!», но они жаждут классовой борьбы. Они возмущены, когда казнят убийцу-садиста, но втайне ликуют, когда узнают о смерти политического противника. Что они предприняли против преступлений большевиков? Нет, борьба есть изначальный фактор жизни, это сама жизнь, и даже самому жалкому пацифисту в душе не удастся полностью избавиться от этого удовольствия. По крайней мере, теоретически он хотел бы победить и уничтожить всех противников пацифизма.

Чем глубже мы проникаем в империю фаустовского мира, тем яснее должно быть, кому с точки зрения морали предопределено быть субъектом, а кому — объектом истории. Печальное шествие по пути совершенствования мира, со времен Руссо бредущее сквозь столетия и оставившее после себя — как единственную отметину своего существования — горы напечатанной бумаги, завершилось. На этой дороге появятся новые цезари. Большая политика как искусство возможного, далекая от систем и теорий, как умение грамотно обращаться с фактами, управлять миром как хороший всадник нажатием шенкелей*, — эта политика снова вступает в свои вечные права.

Поэтому я хочу здесь показать, в каком историческом положении находятся Германия и мир, как это положение вытекает из истории предшествующих столетий, чтобы логически прийти к определенным выводам и решениям. Это и есть судьба. Можно ее отрицать, но тем самым отрицаешь самого себя.

* Шенкель (*нем.*) — обращенная к лошади внутренняя часть ноги всадника от колена до щиколотки; нажатием и ударами шенкеля по крупу достигается посыл лошади вперед и управление ее скоростью.

в Фашоде *, между Францией и Германией в Марокко, между всеми этими странами в Китае.

Повсюду были поводы к большой войне, которая все время могла разразиться при различном раскладе противников — в случае с Фашодой и в русско-японском конфликте между Россией и Францией с одной стороны, Англией и Японией с другой стороны, — пока она не началась в 1914 году в абсолютно бессмысленной форме. Всем миром была предпринята осада Германии как «срединной империи», последней попыткой — бессмысленной по цели и месту — старыми способами разрешить важные стратегические вопросы на немецкой земле. Эта война имела бы совсем другой вид, другие цели и другой исход, если бы удалось склонить Россию к сепаратному миру с Германией, что обязательно повлекло бы за собой переход России на сторону государств Центральной Европы. В данном виде война была предопределенной неудачей, ибо большие проблемы сегодня так же не решены, как и раньше, и не могут быть решены объединением естественных врагов, таких как Англия и Россия, Япония и Америка.

Эта война характеризует конец традиционной дипломатии, последним представителем которой был Бисмарк. Никто из нынешних жалких государственных деятелей больше не понимает задач своего ведомства и историческое положение своей страны. С тех пор некоторым из них стало ясно, что они беспомощно втянуты в ход событий, не имея возможности обороняться. Так — глупо и бесславно — закончился факт «Европа».

Кто был здесь победителем, а кто побежденным? В 1918 году полагали, что знали это, а Франция, по меньшей мере, судорожно цеплялась за свое пони-

* Чилийский залив — одно из ключевых мест «китайских войн» XIX века. Фашода — местечко в верховьях Нила на территории современного Судана, в 1898 году здесь чуть не началась война между Англией и Францией.

мание, потому что в душе не хотела отказаться от реванша — последнего, что у нее осталось от бывшего державного величия. Но Англия? Или Россия? Не разыгрывалась ли здесь в мировом историческом масштабе история из новеллы Клейста «Двоеборье» *? Была ли «Европа» побежденной? Не были ли повержены традиции? На самом деле возникла новая картина мира как предпосылка будущих решений, которые обрушатся с огромной силой. Душа России вновь завоевана Азией, и сомнительно, лежит ли в Европе центр тяжести Британской империи. Обломок «Европы» располагается сегодня между Азией и Америкой (то есть между Россией и Японией — на востоке и Северной Америкой и английскими доминионами — на западе) и состоит, в сущности, лишь из Германии, традиционное положение которой «на границе с Азией» снова имеет значение, из Италии, которая сильна, пока жив Муссолини, и которая приобретает большие основания к тому, чтобы господствовать в Средиземном море, и Франции, которая все еще рассматривает себя госпожой Европы, к политическим учреждениям которой принадлежат женеvский Союз наций и группа юго-восточных государств. Однако это все — возможно или вероятно — временные явления. Изменение политических форм мира происходит быстро, и никто не может предугадать, как спустя десятилетия будет выглядеть географическая карта Азии, Африки и даже Америки.

То, что Меттерних понимал как хаос, от чего он удерживал Европу своей самоотверженной деятельностью, направленной только на сохранение существующего,

* Шпенглер имеет в виду не рассказ, названный так, а «Историю боксера» Клейста.

было не столько распадом системы государств и утратой равновесия сил, сколько параллельно начавшимся процессом распада государственного суверенитета в отдельных странах, о чем мы с тех пор уже не имеем никакого понятия. То, что мы сегодня признаем как «порядок» и закрепляем в «либеральных» конституциях, есть не что иное, как анархия, ставшая привычкой. Мы называем это демократией, парламентаризмом, самоуправлением народа, однако это фактически простое отсутствие осознанного авторитета, правительства и, следовательно, реального государства.

Человеческая история в эпоху высоких культур есть история политических держав. Формой этой истории является война. Мир тоже есть история, но как продолжение войны другими средствами: попытка побежденных страхнуть последствия войны в форме договоров и попытка победителей сохранить их. Государство есть «бытие в форме» (т Рогт зет) народного (убИшсБе) единства, образованного посредством государства и представляющего его, для действительной или возможной войны. Если эта форма очень сильна, то она как таковая потенциально содержит победоносную войну, которая выигрывается без оружия, только весом имеющейся власти. Если форма власти слаба, то она постоянно терпит поражения в отношениях с другими державами. Государство суть чисто политическое единство, единство власти, действующей вовне. Оно не связано единством расы, языка или религии, оно находится над ними. Если же оно покрывается или пересекается с этими единствами, то сила государства, вследствие внутреннего противоречия, как правило, уменьшается, не становится больше. Внутренняя политика необходима только для того, чтобы обеспечить силу и единство внешней политики. Там, где она преследует другие, собственные цели, начинается распад, выход государства за пределы формы.

«Бытие в форме» власти как государства отличается силой и единством руководства, правления, авторитета, без которых государство действительно не существует. Государство и правительство — это одна и та же форма, мыслимая как бытие (Оазегп), или действительность.

Державы XVIII века существовали в форме, строго определенной династической, придворной, общественной традициями, и в значительной мере были им тождественны. Церемониал, правила хорошего тона, образцовые манеры поведения и ведения переговоров только внешняя сторона. Англия тоже была в «форме»: островное положение заменяло существенные черты государства, а правящий парламент обладал аристократической, очень действенной формой ведения переговоров, заложенной старыми традициями. Франция вверглась в революцию не потому, что «народ» протестовал против абсолютизма, которого здесь уже не было, против нищеты или государственного долга, которые в других странах были гораздо больше, а потому, что авторитет государства сильно упал. Все революции происходят от распада государственного суверенитета, а не от восставших улиц, которые лишь только следствие. Современная республика есть не что иное, как руины монархии, которая сама себя отменила.

В XIX веке державы перешли из формы династического государства к форме национального государства. Что это означает? Конечно, нации, то есть культурные народы, существовали издавна. Они образовывались там, где властвовали крупные династии. Нации — это идеи — в том смысле, в каком Гете говорил об идее бытия как о внутренней форме значительной жизни, бессознательно и незаметно проявляющейся в каждом поступке, в каждом слове. *Ба пагюн* в духе 1789 года была, однако, рационалистическим и романтическим идеалом, мечтанием в духе исключительно политической, чтобы не сказать

социальной, тенденции. В наше поверхностное время эти тенденции неразличимы. Идеал есть результат размышления и требуется такое понятие или положение, которое должно быть сформулировано, чтобы «иметь» идеал. Спустя время он становится лозунгом, а потом идет в ход без раздумий. Идеи, напротив, бессловесны. Они редко или вообще не осознаются не только своими создателями, но и другими людьми. Идеи должны чувствоваться в картине происходящего, представлять в своих воплощениях. Они не поддаются определениям. Они не имеют ничего общего с желаниями или целями. Они есть темный натиск, который в чьей-то жизни приобретает определенные черты и судьбоносно выходит за ее пределы в том или ином направлении: идея Рима, идея Крестовых походов, фаустовская идея стремления к бесконечности.

Фактически нации суть идеи еще и сегодня. Но национализм с 1789 года путает родной язык с письменным языком больших городов, в которых каждый имеет возможность научиться читать и писать, то есть с языком газет и листовок, через которые каждый может быть просвещен о «праве» нации и необходимости ее освобождения от чего-либо. Настоящие нации обладают, как каждый живой организм (Кбг-рег), сложным внутренним строением; уже благодаря своему простому существованию они являются определенного рода порядком. Однако политический рационализм понимает под «нацией» свободу и борьбу против любого порядка. Нация для него адекватна бесформенной, простейшей, бесцельной массе без господ. Это он называет суверенитетом народа. При этом, что примечательно, он не учитывает выросшее самосознание и чувства крестьянства, он презирает нравы и обычаи настоящей народной жизни, в которой совершенно особое место занимает почтение перед авторитетом. Он же не знает никакого почтения. Он знает только принципы, вытекающие из теории.

Прежде всего это плебейские принципы равенства, то есть замена презируемого качества количеством, а одаренности, — которая является предметом зависти, — числом. Современный национализм заменяет народ массой. Он является насквозь революционным и урбанистическим.

Губительнее всего идеал самоуправления народа. Но народ не может править собой, по крайней мере, это столь же маловероятно, как командование армией без генералов. Им должен кто-то управлять, и он хочет этого, пока обладает здоровыми инстинктами. Но подразумевается нечто совсем другое: понятие народного представительства играет в каждом таком движении первую роль. Тут приходят люди, которые сами себя назначают «представителями» народа и в таком качестве повелевают. Они совсем не хотят «служить народу»: они хотят обслуживать народ для своих более или менее грязных целей, среди которых самым безобидным является удовлетворение тщеславия. Они подавляют власть традиции, чтобы заменить ее собою. Они борются с государственным строем, потому что он препятствует их деятельности. Они борются с любым авторитетом, они избегают ответственности, потому что не хотят быть ответственными ни перед кем. Ни в одной конституции нет упоминания об инстанции, перед которой должны держать ответ партии. Они борются прежде всего с созревшей во времени культурной формой государства, потому что они не имеют ее в себе как *Soaey*— старое доброе общество XVIII века. И поэтому воспринимают государство как давление, чем оно не является для культурных людей. Так возникает «демократия» столетия, никакая не форма, а бесформенность как принцип, парламентаризм как разрешенная конституцией анархия, республика как отрицание любого авторитета.

И чем более «прогрессивно» управляются европейские государства, тем скорее они теряют форму.

ЕШ Освальд Шпенглер

Это и был хаос, подвигавший Меттерниха на борьбу с демократией без различия направлений: с романтической демократией освободительных войн, с рационалистической демократией народа, штурмовавшего Бастилию, который затем в 1848 году объединился, чтобы стать консервативным одинаково в отношении всех реформ. С тех пор во всех странах образовались партии, то есть наряду с отдельными идеалистами появились группы делег-политиков сомнительного происхождения и с более чем сомнительной моралью: журналисты, адвокаты, биржевики, писаки, партийные функционеры. Партии правили, поскольку представляли интересы своих вождей. Монархи и министры постоянно несли ответственность перед кем-либо, по меньшей мере перед общественным мнением. А эти группы никому не давали никакого отчета. Пресса, возникнув как орган общественного мнения, издавна служит тем, кто ей платит; выборы, когда-то выражение этого мнения, приводили партию к победе, за которой стоял влиятельный кредитор. Если, несмотря на это, существовал некий государственный порядок, добросовестное правление, авторитет, то это были осколки XVIII века, сохранившиеся в виде конституционной монархии, офицерского корпуса, дипломатической традиции, старинных правил английского парламентаризма, прежде всего палаты лордов и двух его партий. Этим осколкам обязано все то, что, несмотря на парламент, происходит в государственной деятельности. Если бы Бисмарк не мог опереться на своего короля, то был бы тотчас уничтожен демократией. Политический дилетантизм, ареной для которого были парламенты, смотрел на эту власть традиции с недоверием и ненавистью. Он боролся с ней основательно и одержимо, не учитывая внешних последствий. Так везде внутренняя политика стала сферой, которая, выходя за пределы своего собственного значения, насильственно втягивала в себя опытных государственных

ШЛМ Мировые войны и мировые державы

деятелей, поглощала их время и силы, из-за которой они упускали из виду изначальный смысл государственного руководства — внешнюю политику. Это анархистское промежуточное состояние, называемое демократией, которое, разрушив политическим плебейским рационализмом государственный монархический строй, движется к цезаризму будущего, уже сегодня тихо заявляющего о себе диктаторскими тенденциями и предназначенного неограниченно властвовать на развалинах исторического прошлого.

К самым серьезным знакам распада государственного суверенитета принадлежит тот факт, что на протяжении XIX века господствующим стало представление о том, что хозяйство важнее политики. Среди людей, так или иначе причастных сегодня к принятию решений, почти нет никого, кто опровергал бы его. Политическая власть рассматривается не только как элемент общественной жизни, первая, если не единственная задача которой состоит в служении хозяйству, но и ожидается, что она стремится соответствовать требованиям и намерениям хозяйства и, наконец, что она должна управляться руководителями экономики. Это происходит повсеместно, а с каким успехом — показывает история этого времени.

В действительности в жизни народов нельзя разделить политику и хозяйство. Они — я должен это все время повторять — две неразделимые половины, но роли их разные: одна — капитан корабля, другая — груз, который везет корабль. На борту корабля первую роль играет капитан, а не купец, которому принадлежит груз. Если сегодня распространено мнение о том, что хозяйственное руководство есть самый главный элемент, то это оттого, что политическое

руководство находится под влиянием партийной анархии — и вряд ли еще заслуживает признания как действительное руководство, — и поэтому хозяйственное руководство представляется более значительным. Но если после землетрясения среди развалин выстоял дом, то это не значит, что он был каким-то особенным. В истории, поскольку она протекает в «форме», а не беспорядочно и революционно, хозяйственный руководитель никогда не был господином решений. Он свыкался с политическими соображениями, служил им средствами, которые были у него под рукой. Без сильной политики никогда и нигде не было здорового хозяйства, хотя материалистическая теория говорит противоположное. Адам Смит, ее основатель, обсуждал хозяйственную жизнь как собственно человеческую жизнь, делание денег как смысл истории и сравнивал государственных мужей с вредными насекомыми. Однако как раз в Англии не купцы и владельцы фабрик, а настоящие политики — такие, как оба Питта *, — благодаря великолепной внешней политике, часто при ожесточенном сопротивлении близоруких хозяйственников, сделали английскую экономику первой в мире. Это были настоящие государственные деятели, которые вели борьбу против Наполеона вплоть до угрозы финансового краха, потому что они видели дальше, чем баланс будущего года, как это сейчас обычно бывает. Но сегодня, вследствие незначительности руководящих государственных деятелей, которые по большей части сами интересуются приватными сделками, хозяйство серьезно вмешивается в решения, причем в полном объеме: не только банки и концерны, в партийном одеянии или без него, но и концерны по повышению заработной платы и сокращению рабочего времени, называющие себя рабочими партиями.

* Уильям Питт Старший (1708—1778), Уильям Питт Младший (1759—1806) — видные английские государственные деятели.

Последнее есть неизбежное следствие первого. В этом заключается трагичность того хозяйства, которое хочет само себя обезопасить политически. И это тоже началось в 1789 году с жирондистов, которые хотели превратить сделки зажиточного бюргерства в смысл бытия государственной власти, что при Луи Филиппе, короле бюргеров, стало в значительной степени фактом. Пресловутый лозунг «*Enghlitzeg-You!*» * стал политической моралью. Его хорошо поняли и последовали ему — не только торговцы и ремесленники, сами политики, но и класс наемных рабочих, в 1848 году использовавший с выгодой для себя преимущества распада государственного строя. Тем самым ползучая революция целого столетия, которую называют демократией и которая периодически обнаруживается в восстаниях масс — через выборные бюллетени или баррикады — и «народных представителей» — через парламентское свержение министров и несогласие с государственным бюджетом, становится хозяйственной тенденцией. Так было и в Англии, где учение о свободной торговле манчестерцев ** было перенесено с трейд-юнионов на торговлю товаром «труд», что Маркс и Энгельс потом теоретически воплотили в «Коммунистическом манифесте». Тем самым завершилась подмена политики хозяйством, государства — конторой, дипломатов — профсоюзными лидерами: здесь, а не в последствиях мировой войны зародыши хозяйственной катастрофы современности. При всей своей тяжести она есть не что иное, как следствие распада государственной власти.

Исторический опыт должен был бы предостеречь столетие. Никогда экономика реально не достигала цели без прикрытия со стороны политически властно

* Обогащайтесь (*франц.*).

** Имеется в виду так называемая «манчестерская экономическая школа» первой половины XIX века, проповедовавшая идею свободной торговли.

мыслящего государственного руководства. Неверно, когда так судят о разбойничьих плаваниях викингов, с которых началось господство над океаном народов европейского мира. Их целью, разумеется, была добыча: земли, людей или сокровищ — это уже второстепенный вопрос. Корабль был государством в себе, а план похода, высший приказ, тактика — это была настоящая политика. Там, где корабли составляли флот, сразу образовывалось государство, причем с ярко выраженными суверенными правительствами, как в Нормандии, Англии, Сицилии. Германская Ганза осталась бы великой экономической властью, если бы Германия стала политически великой державой. С концом этого влиятельного союза городов, политически обеспечивать который никто не считал задачей германского государства, Германия выпала из больших мировых хозяйственных комбинаций Европы. Она снова вступила в них только в XIX веке, но не через частные устремления, а единственно и только благодаря политическим инициативам Бисмарка, ставшим предпосылкой империалистического подъема немецкого хозяйства.

Морской империализм, выражение фаустовского стремления к бесконечности, начал принимать крупные масштабы, когда после завоевания Константинополя турками в 1453 году хозяйственные пути в Азию были закрыты. Это был серьезный повод для открытия морского пути в Ост-Индию и открытия Америки, за которыми стояли великие державы того времени — Португалия и Испания. Конкретными движущими мотивами были тщеславие, страсть к приключениям и опасности, радость борьбы, жажда золота и хорошего куша. Открытые страны должны были быть завоеваны и покорены; они должны были усилить власть Габсбургов в европейских интригах. Империя, в которой не заходило солнце, было политическим образованием, результатом взвешенного государственного руководства и только поэтому полем

для хозяйственных успехов. Так же было и с Англией, получившей перевес не благодаря силе своей экономики, которой сначала не было, а благодаря умному правлению дворянства, будь то виги или тори. Англия разбогатела на войнах, а не благодаря бухгалтерскому учету и спекуляциям. Поэтому английский народ, мысливший и говоривший «либерально», на практике был самым консервативным народом в Европе: консервативным в смысле сохранения всех властных форм прошлого вплоть до мельчайших церемониальных деталей, хотя их можно высмеивать или презирать. Пока не было видно новых, более сильных перспектив, сохранялось все старое: две партии, независимость решений правительства перед парламентом, палата лордов и королевство как сдерживающие противовесы в критических положениях. Этот инстинкт все время спасал Англию, и если он сегодня угас, то это означает потерю не только политического, но и экономического положения в мире. Мирабо, Талейран, Меттерних, Веллингтон ничего не понимали в хозяйстве. Это, конечно, упрек в их адрес. Но было бы хуже, если бы на их месте некий хозяйственный специалист пытался бы делать политику. Только когда империализм попал в руки хозяйственных, материалистических дельцов, когда он перестал быть политической властью, интересы руководящего хозяйственного слоя очень быстро погрузили его в область классовой борьбы заявляющего о себе труда. Так распались большие национальные хозяйства и увлекали за собой в пропасть великие державы.

Самым перспективным выражением «национальной» революции после 1789 года стали регулярные армии XIX века. Наемные армии династических